

МЭТТ ХЕЙГ
СОБСТВЕННОСТЬ
МИСТЕРА
КЕЙВА

«Острая, захватывающая
и душераздирающая книга».
The New York Times

18+



МЭТТ ХЕЙГ

Собственность мистера Кейва

Издательство "Livebook/Гаятри"

2018

УДК 82-3
ББК 84

Хейг М.

Собственность мистера Кейва / М. Хейг — Издательство
"Livebook/Гаятри" , 2018

ISBN 978-5-907056-34-3

Владелец лавки антиквариата Теренс Кейв мастерски восстанавливает старинные вещи, но не может уберечь тех, кого любит больше всего. После череды трагических событий он стремится защитить свою дочь от любой опасности. Пытаясь контролировать каждый ее шаг, мистер Кейв не замечает, как его любовь становится разрушительной одержимостью. Мэтт Хейг – одна из ключевых фигур современной британской литературы, его книги неоднократно были номинированы на престижные литературные премии. Газета The Guardian назвала его сказку «Мальчик по имени Рождество» современной классикой, кинокомпания Studio Canal немедленно купила права на экранизацию. На русском языке издано более десяти книг Хейга. Среди самых известных – «Люди и я», «Семья Рэдли», «Планета нервных» и «Последнее семейство в Англии».

УДК 82-3
ББК 84

ISBN 978-5-907056-34-3

© Хейг М., 2018
© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2018

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

34

Мэтт Хейг

Собственность мистера Кейва

Matt Haig
THE POSSESSION OF MR CAVE

Издание публикуется с разрешения Canongate Books Ltd и литературного агентства Van Lear

© Matt Haig, 2018
© Дарья Ивановская, перевод на русский язык, 2019
© ООО «Издательство Лайвбук», оформление, 2019

* * *

Посвящается Андреа

Все, что мы желаем изменить в детях, следовало бы прежде всего внимательно проверить: не является ли это тем, что лучше было бы изменить в нас самих.

Карл Густав ЮНГ. «Развитие личности»

Но самые тяжкие, сокровенные трагедии раннего детства, когда руки ребенка, обвившие шею матери, отрываются от нее навеки – а уста его навеки расстаются с поцелуем сестры, – вот эти переживания пребывают неустраимо, таясь до последнего во глубине глубин.

Томас Де КВИНСИ. «Suspiria de Profundis: палимпсест человеческого мозга»





ТЫ, разумеется, знаешь, с чего все началось.

Все началось так же, как и сама жизнь – с крика.

Я сидел за столом наверху, сводил бухгалтерию. Настроение мое было весьма бодрым, поскольку утром мне удалось довольно выгодно продать средневикторианский откидной столик. Было около половины восьмого. Помнится, я еще обратил внимание, как красиво небо за окном. Один из тех восхитительных майских закатов, угасание которого вмещает в себя всю прелесть прошедшего дня.

А где же была ты? Ах да: в своей комнате. Ты играла на виолончели с тех пор, как Рубен отправился к друзьям на теннисный корт.

Когда я его услышал, тот крик, я как раз перевел взгляд на парк. Кажется, я все-таки смотрел на каштаны, а не на пустую гимнастическую лестницу, потому что на Ист-Маунт-роуд я никого не заметил. Я пытался разобраться с какой-то нестыковкой в цифрах, уж не помню точно, с какой именно.

О, я и сейчас не забыл тот вид из окна. Я мог бы написать десять тысяч слов о том закате, о том парке, о том рутинном беспокойстве за дебети кредит. Видишь ли, я пишу это и снова возвращаюсь и в момент, и в комнату, и в состояние окутавшей меня теплой неги неведения. Мне кажется преступлением так легко воссоздавать тот вечер и тот миг, когда прозвучал крик, наполненный особым смыслом. Но я должен рассказать, как все было, в точности так, как я видел, потому что это стало концом и началом всего, понимаешь? Так что давай, Теренс, день не бесконечный.



Сперва крик просто помешал мне. Он вторгся в сладостное звучание какой-то сонаты Брамса, доносившейся из твоей комнаты. И не успел я понять, почему именно, как он отозвался во мне болью, спазмом в животе, будто мое тело все осознало раньше разума.

Одновременно с криком с той же стороны послышался другой шум. Голоса слились в хор, повторяющий какое-то двусложное слово или имя, которое я не мог разобрать. Я посмотрел туда, откуда доносились звуки, и увидел, как ожил, мигая, первый уличный фонарь. На горизонтальной его перекладине что-то болталось. Какая-то неопределенная темно-синяя фигура высоко над землей.

Внизу стояли люди – мальчишки – и вдруг я с внезапной ясностью понял, что за объект над ними висит, и что повторяют их голоса.

– Рубен! Рубен! Рубен!

Я застыл. Видимо, какая-то значительная часть меня все еще была поглощена счетами, потому что секунду или около того я смотрел и бездействовал.

Мой сын висел на фонарном столбе, изо всех своих сил рискуя жизнью, чтобы развлечь тех, кого он считал друзьями.

Я почувствовал, как все вокруг меня стало резким, и сдвинулся с места, ускоряясь по мере того, как пересекал лестничную площадку.

Музыка стихла.

– Папа? – позвала ты.

Я сбежал по лестнице и пронесся сквозь магазин. Я что-то задел бедром, какой-то шкафчик, одна из статуэток упала и разбилась.

Я пересек улицу и побежал к воротам. Пробежал через парк с былой молодецкой прытью, перепрыгивая через листья и траву, через пустую игровую площадку. Все это время я не сводил с него взгляда, будто, отведи я на секунду глаза, его хватка сразу ослабнет. Я бежал, и ужас пульсировал у меня в груди, в ушах и перед глазами.

Он перебирал руками, подвигаясь ближе к вертикальной части столба.

Теперь я видел его лицо, залитое неестественным желтым светом фонаря. Он скалился от напряжения, а глаза навывкате выдавали осознание совершенной ошибки.

Пожалуйста, Брайони, пойми: боль ребенка – это боль его родителя. Я бежал к твоему брату и знал, что бегу к самому себе.

Я спрыгнул с парковой ограды на мостовую, приземлился неудачно. Подвернул лодыжку на бетонной плитке, но несмотря на это бежал к нему и звал его по имени.

Твой брат не мог пошевелинуться. Мука искажала его лицо. Свет фонаря осветил его кожу, скрывая родимое пятно, которое он всегда ненавидел.

Я был уже близко.

– Рубен! – кричал я. – Рубен!

Он увидел, как я проталкиваюсь сквозь толпу его друзей. Я все еще помню его лицо, на котором сменяли друг друга замешательство, страх и беспомощность. В этот миг, когда он увидел меня, когда отвлекся, концентрация, необходимая ему, чтобы удержаться, внезапно исчезла. Я почувствовал это прежде, чем все случилось, ощутил злорадство фатума, истекающее из-под террас домов. Невидимое всепоглощающее зло, забирающее последнюю надежду.

– Рубен! Нет!

Он упал. Быстро и грузно.

Секунда – и его крик прекратился, и вот он лежит на бетонной плите прямо передо мной.

Все это выглядело чудовищно, неестественно – он лежал, как брошенная тряпичная кукла. Изогнувшиеся сломанные ноги. Учащенные движения грудной клетки. Сверкающая кровь, льющаяся из его рта.

– Вызывайте «скорую»! – крикнул я мальчишкам, столпившимся вокруг в онемении. – Быстро!

В стороне, по Блоссом-стрит, неслись машины, направляясь в сторону Йорка или в торговые центры, ничего не знающие, ни к чему не чувствительные.

Я опустился на колени и коснулся рукой его лица, и умолял его не покидать меня.

Я умолял.

Все казалось каким-то продуманным наказанием – то, как он умер. Я видел решимость в его глазах, пока из его тела постепенно уходила субстанция под названием «жизнь».

Одного мальчишку, самого маленького, вырвало на асфальт.

Еще один, бритоголовый, востроглазый, отшатнулся, отступил на пустую дорогу.

Самый высокий и мускулистый из всей компании просто стоял и смотрел на меня, спрятав лицо в тени капюшона. Я ненавидел и этого мальчика, и его жестокое равнодушие. Я проклинал Бога за то, что этот мальчик стоял передо мной и дышал, пока Рубен умирал на асфальте. И, несмотря на отчаяние и остроту момента, я ощущал, что с этим мальчиком что-то не так, словно он попал в этот сюжет из совсем другой реальности.

Я взял Рубена за руку, за отяжелевшую левую руку, и увидел на покрасневшей ладони следы от перекладины, за которую он держался. Я гладил эту ладонь и говорил с ним, нагро-

мождая слова поверх других слов, но все это время я наблюдал, как он покидает собственное тело, как он исчезает. А потом он кое-что сказал.

– Не уходи.

Будто бы это я уходил, а не он. Это были его последние слова.

Его рука похолодела, ночь сгустилась, а потом приехала «скорая», чтобы подтвердить, что уже ничего нельзя сделать.

Я помню, как ты шла через парк.

Помню, как оставил на земле тело Рубена.

Помню, ты спросила: «Папа, что случилось?»

Помню, как сказал: «Иди домой, детка, пожалуйста».

Помню, ты спросила про «скорую».

Помню, я тебе не ответил и просто повторил свою просьбу.

Помню, как тот мальчик в капюшоне в упор на тебя посмотрел.

Помню, как я сорвался, помню, как схватил тебя за руку и заорал, помню, что был как никогда резок с тобой.

Помню выражение твоего лица, и как ты побежала обратно к дому, к магазину, и как закрылась дверь. И как сквозь безумие пришло осознание, что я предал вас обоих.

Как тебе известно, большую часть своей жизни я ремонтировал сломанные вещи. Чинил часовые циферблаты, реставрировал старые стулья, восстанавливал расписной фарфор. За долгие годы я в совершенстве овладел искусством выведения пятен с помощью нашатырного спирта или уайт-спирита. Я могу убрать царапины со стекла. Я могу имитировать различные текстуры дерева. Я могу реставрировать изъеденный коррозией подсвечник эпохи Тюдоров с помощью уксуса, стакана горячей воды и куска мягкой стальной мочалки для посуды.

Я испытал это захватывающее ощущение, когда однажды купил туалетный столик красного дерева времен Георга III, покрытый двухсотлетними рубцами и царапинами, а потом вернул ему былой блеск. То же самое было, когда миссис Уикс зашла в магазин, потрогала своими искусственными пальцами вустерскую вазу и не заметила ни одной трещины – совсем недавно это наполняло меня счастьем.

Полагаю, все это давало мне некое ощущение власти. Это был мой способ побороть время. Возможность противопоставить себя гнили и увяданию. И я не могу передать тебе, какую отчаянную боль приносит мне то, что я не способен с такой же легкостью восстановить наше собственное прошлое.

Ты должна кое-что понять.

В моей жизни было всего четыре человека, которых я по-настоящему любил. Из этих четверых осталась только ты. Остальные погибли. Сын, жена, мать. Все трое умерли преждевременно.

У тебя есть три любимых человека, и они умирают. Никто не устроит по этому поводу публичного расследования, правда? Правда. Скольких еще ты должен любить, а потом похоронить, чтобы люди заподозрили, что с этой любовью что-то не так? Пятерых? Десятерых? Сотню? Трое – это пустяк. Всем плевать. Просто старое доброе невезение, пусть даже оно и унесло три четверти тех, до кого тебе было дело в этом мире.

О, я старался быть разумным. Брось, Теренс, говорил я себе. Ты не виноват ни в одной из этих смертей. Конечно, окажись я в суде, к моей защите было бы не придраться.

Но как судить за любовь? Какое наказание мог бы вынести такой суд, чтобы оно оказалось страшнее горя? После смерти Рубена мне начало казаться, что что-то не так и со мной, и с моей любовью. Я проворонил Рубена. Он умер среди своих друзей, ни с одним из которых я не был знаком.

Я любил его и всегда думал, что как следует о нем позабочусь, просто это случится немного позже. Я не мог принять, что это «позже» никогда не настанет.

Конечно, для любого родителя смерть ребенка – это всегда нечто невозможное. Ты слышишь вступление знакомой сонаты, а потом музыка замирает, но эти ноты еще звучат в тебе, и их красота и сила не становятся менее реальными, менее совершенными. Только вот я игнорировал мелодию Рубена. Она звучала все время, на протяжении всех его четырнадцати лет, но я отключился, я не слушал. Я всегда был занят магазином или тобой, а Рубен был предоставлен самому себе.

И теперь я изо всех сил старался найти то, что раньше игнорировал, и когда прилагал достаточно усилий, мне удавалось уловить отдельные отблески, короткие вспышки жизни, которая стала чем-то иным, но не закончилась по-настоящему. Звуки возвращались, но не в правильной последовательности, а в виде хаотичной мешанины, обрушиваясь на меня тяжелым грузом вины.

В день похорон меня разбудило какое-то жужжание. Злой, пилящий звон разрезал темноту. Я открыл глаза и приподнял голову посмотреть, откуда идет звук. Мне была видна вся комната, мягко освещенная пробивавшимся сквозь занавески утренним солнцем. Фотография твоей мамы в рамке, платяной шкаф, репродукция Тернера, французские каминные часы. Все как всегда, кроме жужжания. И только когда я привстал повыше, опершись на локти, я увидел источник звука. Низко над кроватью, над одеялами, укрывавшими мои ноги, роились около пяти сотен мелких мошек, просто висели в воздухе, словно я был трупом, лежащим в пустыне под палящим солнцем.

Я не сразу испугался. Вид этих существ, летающих небольшими кругами, поначалу завораживал. Потом что-то изменилось. Словно вдруг заметив, что я проснулся, мошки начали двигаться сплошным облаком все ближе к изголовью кровати, к моему лицу. Вскоре они полностью окружили меня, как темный снежный вихрь, и их злобный незатихающий гул с каждой секундой становился все громче. Я нырнул глубоко под одеяло, надеясь, что мошки за мной не последуют, и вместе с этим внезапным движением жужжание полностью прекратилось. Я секунду подождал в теплой и уютной темноте, потом выглянул.

Все мошки бесследно исчезли. Я снова осмотрелся, и, хоть этих тварей уже не было, меня накрыло ощущение, что комната каким-то образом изменилась, словно каждый предмет в ней тоже оказался во власти моей иллюзии.

Я помню, как мы с Синтией разговаривали в машине, пытаясь худо-бедно прикрыть свое горе, пока похоронная процессия двигалась по старым саксонским улочкам. В какой-то момент бабушка повернулась к тебе и сказала: «Ты молодец». Ты так же грустно улыбнулась ей в ответ и, соглашаясь, угукнула. Ты была удивительно собрана, как и всю прошедшую неделю. Слишком собрана, подумал я, переживая, что ты излишне подавляешь свои чувства.

Я старался думать о твоём брате, но мысли все равно возвращались к тебе и к тому, как смерть брата-близнеца повлияла на тебя.

Целую неделю ты не прикасалась к виолончели. Это можно понять, говорил я себе. Ты каждый вечер ходила на конюшню, ухаживала за Турпином, но ни разу не каталась на нем с того дня, что предшествовал гибели Рубена. И этого тоже стоило ожидать. Ты потеряла брата и осталась теперь единственным ребенком единственного родителя. И все же меня что-то тревожило. Ты не ходила в школу, а я закрыл магазин, и тем не менее мы, кажется, за всю неделю ни разу толком не поговорили. У тебя постоянно находился повод выйти из комнаты – проверить уют, накормить Хиггинса, сходить в туалет. И даже теперь, в этой медленно едущей

машине, ты чувствовала, что я смотрю на тебя, и морщилась, словно жар моего взгляда жег тебе щеку.

На подъезде к церкви Синтия сжала мою руку. Я обратил внимание на ее ногти, как обычно покрытые черным лаком, на ее макабрический макияж, и вспомнил ее печальную утреннюю шутку о том, что от ее модных предпочтений есть хоть какая-то польза, потому что теперь не придется думать, что надеть на похороны.

Мы остановились у церкви и вышли из машины. На наших лицах застыло горе, которое мы действительно чувствовали и которое нам полагалось выражать. Мы шли мимо старых скособоченных могил жертв чумы, и я думал обо всех этих мертвых родителях, разлученных со своими детьми. Помнишь страшную историю, которую рассказывала Синтия? О мальчике, умершем от чумы и похороненном за стенами Йорка согласно новым законам, а потом дух его матери восстал из своей могилы и тщетно искал сына? Она рассказывала вам эту историю, когда вы были маленькими, а потом уходила и уносила свечи и апельсины, из которых мы делали кристинглы, а Рубен смеялся, потому что ты пугалась.

Так странно. Я будто бы тону. Приходит воспоминание, а за ним следует еще одно, подныривает и тащит вниз. Но я должен держаться на воде. Я должен хватать ртом воздух.



Тебе, наверное, не понятно, зачем я снова и снова все это вспоминаю, ведь ты тоже там была, но я должен рассказать тебе все так, как видел это, потому что ты знаешь только свою версию, а я – только свою, и я надеюсь, что когда ты прочтешь мою историю, ты взглянешь на мои действия иначе, и, может быть, в этом просвете, в этом воздушном просвете между твоим чтением и моей писаниной проявится некая истина. Тщетная надежда, но другой у меня нет, так что я буду держаться за нее, как всю дорогу держался за тебя.

В конце тропинки нас уже ждал Питер, викарий, готовый выразить сочувствие и дать дальнейшие указания. Он что-то сказал тебе, и Синтия влезла в разговор, спасая тебя от необходимости с ним беседовать. А потом я обернулся и увидел того мальчика, которого встретил, когда погиб Рубен. Того мальчика, которого я сразу возненавидел за глухое равнодушие на лице. Капюшона на нем уже не было. Он надел дешевый костюм, черный галстук, и, должен признать, внешность его впечатляла. Бледная кожа, черные волосы и как будто некая темная и гнетущая сила в глазах. Что-то жестокое и опасное.

Не знаю, видела ли ты его. Видела? Я кое-что шепнул Синтии и пошел к нему мимо всех этих древних могил.

– Могу я узнать, что ты здесь делаешь?

Он ответил не сразу. Сперва подавил ярость, которая внезапно проступила на его лице.

– Денни я, – сказал он, словно это что-то объясняло.

– Денни?

– Я дружил с Рубеном, – его голос звучал слишком надменно, даже задиристо, что никак не соответствовало случаю.

– Он о тебе не рассказывал.

– Я ж там был, когда он... Ну вы видели.

– Да, я тебя видел, – я решил воздержаться от наскоков и обвинений. Не время и не место. – А зачем ты сюда пришел?

– На похороны.

– Нет, тебя не приглашали.

– Ну я хотел, – его взгляд был жестче его голоса.

– Что ж, ты явился. А теперь можешь уходить.

Он смотрел вдаль через мое плечо. Я обернулся и увидел, что викарий все еще не отпустил тебя.

– Иди, – сказал я. – Тебе здесь не рады. Не беспокой нас.

Он кивнул. Подозрения подтвердились.

– Да, – процедил он сквозь сжатые губы. И пока он уходил, меня посетило исключительно странное и неприятное ощущение. Это чувство можно описать как брошенность, словно из меня вытащили какую-то важную часть души, и я на мгновение перестал понимать, где я. В глазах потемнело, в мозгу словно вспыхнул электрический разряд, и мне даже пришлось схватиться за каменный столб, чтобы не упасть.

Тут мои воспоминания переносятся в церковь. Я помню, как мы медленно брели за гробом. Помню, как деликатен был викарий. Я, как сейчас, вижу Синтию у аналая, зачитывающую отрывок из Послания Коринфянам без намека на привычную патетику: «Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых...»

Еще более отчетливо я помню, как сам стоял и смотрел по сторонам, не в силах прочесть стихотворение, которое выбрал по случаю. Я видел множество лиц, и на каждом – обязательное выражение горя. Учителя, покупатели магазина, сотрудники похоронного бюро. И ты среди них, на передней скамье, глядишь на гроб своего брата. А я стоял и смотрел на лежащий передо мной лист, тот, на котором Синтия так аккуратно напечатала текст.

Некоторое время я не мог ни говорить, ни плакать – ничего не мог. Я просто стоял.

Из-за меня эта минута тянулась для бедных гостей как целая жизнь. Я еле дышал. Питер уже шел ко мне, приподнимая брови, но я, наконец, заставил себя начать.

– «К сну», – сказал я, и каменные стены ответили мне эхом. – «К сну».

Я снова повторил: «К сну», – поворачивая ключ зажигания в двигателе моего мозга. – Джон Китс.

*Бальзам душистый льешь порой полночной,
Подносишь осторожные персты
К моим глазам, просящим темноты.
Целитель Сон! От света в час урочный
Божественным забвеньем их укрой,
Прервав иль дав мне кончить славословье,
Пока твой мак рассыплет в изголовье
Моей постели сновидений рой.
Спаси! Мне на подушку день тоскливый
Бросает отсвет горя и забот.
От совести воинственно-пытливой,
Что роется во мраке, словно крот,
Спаси меня! Твой ключ мироточивый
Пускай ларец души моей замкнет ¹.*

Я сел на место. Питер завершил церемонию. Гроб понесли через проход, а я смотрел на ноги тех, кто его нес. Левый ботинок за правым ботинком. Синхроннодвигающиеся четыре пары ног, будто начинающие привычную пляску смерти.

Я поднял глаза и увидел лицо одного из них, и на лице была печаль, которой он не ощущал, но которой пытался замаскировать напряжение, вызванное необходимостью нести на плече тяжелый гроб.

Я посмотрел на тебя и сказал:

¹ Перевод В. Потаповой

– Все в порядке.

Ты не ответила.

Спустя пять минут мы вышли на улицу, и легкий дождь застучал по большому черному зонту, которым я укрывал тебя и твою бабушку. После недели молчания ты расплакалась, а вслед за тобой и Синтия. Только мои глаза были сухи, хотя сердце мое, полагаю, рыдало. Должно было.

Я все еще слышу голос Питера:

– Мы вверяем нашего брата Рубена в милосердные руки Божьи и предаем его тело погребению, – гробовщики опускали гроб, отработанным движением ослабляя черные ремни. – Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху.

Спокойствие ритуальных повторов не могло сдержать твоих всхлипов.

– В твердой надежде и уверенности в воскресении в жизни вечной через Господа нашего Иисуса Христа, – гроб крепко стал на твердую землю. – Умершего, погребенного и воскресшего ради нас. Ему же слава во веки веков.

И вот звучит последнее хоровое «аминь», так тихо, словно из-под земли, в которой хоронят Рубена. Земли, убеждающей нас, что его больше нет.

Полиция ничего не собиралась делать с его друзьями.

– Его туда никто силой не загонял.

Вот такие первобытные представления о силе, о несчастном случае, об ответственности. Я тебе не говорил, но я встречался с ними. С мальчишками. Они бродили по заброшенному теннисному корту, так что я завез тебя в конюшню и отправился сказать им все, что я думаю.

Они были на месте. Все, кроме Денни.

Я остановился у обочины и открыл окно.

– Надеюсь, вы довольны, – сказал я, высовываясь наружу. – Надеюсь, вам было весело смотреть, как он умирает. Надеюсь, вы спите сном праведников, зная, что его кровь на ваших руках.

Они стояли за проволочным ограждением, как банды из мюзикла Бернстайна. Бритоголовый востроглазый мальчик ответил грубым жестом, но вслух ничего не сказал.

– Убийцы! – крикнул я, прежде чем дать по газам.

И я этим не ограничился. Следующим вечером я кричал им те же самые обвинения. И следующим, и следующим тоже, но я ни разу его не видел. Я не видел там Денни. На самом деле, на четвертый раз я не увидел уже никого. Я кричал в пустоту, обвиняя воздух. Они исчезли из-за чувства вины, убеждал я себя. Их задело мои слова. Но самое странное, что меня это не утешало. У меня сердце упало, когда я вдруг понял, что их там нет, а моя ярость мягко перетекла в отчаяние.

Еще по ранним отзывам школьных учителей было видно, что твой брат вряд ли добьется больших академических успехов. Его не поливали постоянными «выдающийся» или «исключительный», как тебя, никакими «счастливы учить» или «несет радость в класс».

Рубен не интересовался книгами так, как ты. Для него чтение всегда было не более чем одной из регулярных обязанностей. Ему нравились рассказы о Дике Турпине и всех этих старых мошенниках, которые я читал вам на ночь, они нравились вам обоим, но он, услышав одну историю, хотел слушать ее снова и снова, а ты же всегда просила рассказывать о том, о чем ты еще ничего не знаешь.

Я прямо вижу, как он сидит у окна и рисует пальцами на запотевшем стекле. «Спокойный мальчик». «Внушаемый».

В наш слепой век деньги стали мерилom любви. Кто-то со стороны может жестоко заявить, что я заботился о тебе сильнее, потому что с одиннадцати лет платил за твое обучение.

А что мне оставалось? Я мог платить только за одного из вас – неужели ради справедливости вы должны были оба страдать? Я ли виноват, что Маунт – школа для девочек? Может, нужно было отправить учиться Рубена, который не особо заботился о своем образовании? Неуж, Сент-Джонс определенно подошел ему как нельзя лучше.

Должен признать, что это, конечно, были не единственные затраты на тебя. Ты, в конце концов, хотела в седло, так что я купил тебе коня и оплатил аренду конюшни. Ты хотела заниматься музыкой, так что я купил тебе скрипку, а потом оплатил уроки игры на виолончели в колледже. Ты хотела кота, а именно сливочного цвета бирманца, и я купил тебе Хиггинса.

Но ведь ты проявляла ко всему этому активный интерес. Это не значит, что я по-отцовски потакал любимым твоим прихотям, а если бы и так – я бы столь же охотно потакал прихотям твоего брата, если бы он только просил о подобных подарках. Что нравилось Рубену? Я так и не понял. Он захотел велосипед – я купил ему, и довольно неплохой. Ему нужна была всякая высокотехнологичная ерунда, и он знал, что я не разрешу ему, еще до того, как спросил. Нет, забывать нельзя – твой брат был не так-то прост. Даже в горе я не могу не помнить об этом. Наоборот – горе заставляет меня помнить особо отчетливо, потому что я знаю, как сентиментальность иногда захватывает и топит воспоминания, и не дает больше вспомнить человека таким, каким он на самом деле был.

Я же хочу помнить его настоящим. Я хочу помнить его непрерывные ночные вопли в младенчестве, его детские припадки гнева, его неудержимое пристрастие к мармеладкам. Я хочу помнить, как он злился, когда вы одновременно читали одну и ту же книгу. Я хочу помнить ваши с ним ссоры, даже ту, когда он разорвал твои ноты.

Я хочу помнить, как он сидел перед телевизором, прикрывая рукой родимое пятно на лице. Я хочу помнить случай с сигаретами, историю с магазинной кражей, разбитую вазу. Я хочу помнить, как по утрам в воскресенье вы ходили со мной на антикварную ярмарку, и он ныл всю дорогу.

Тем не менее, мне всегда было сложно думать о нем. Каждый раз его образ мягко подменялся твоим. Пытаясь вообразить вас совсем еще малышами, такими, какими вас застала мама, мне не удавалось вызвать в памяти его плачущее личико. Я всегда видел только тебя, тихо лежащую возле него в невинных бессловесных мечтах. Ты сама была мечтой.

И вот день, когда я впервые открыл магазин после его смерти. А ты вернулась в Маунт. Я полировал кувшины, супницы, столовое серебро. Я провел там весь день, в белых перчатках, наполняя магазин запахом полироля, а мое искаженное отражение смотрело на меня безумными глазами.

Приходили покупатели, и я отпугивал их, не давая им потратить деньги. Я делал ошибки. Я неправильно считал сдачу. Я уронил дэвенпортский кувшин. Я ужасно себя чувствовал.

– Давай, Теренс, соберись, – сказала помогавшая мне за стойкой Синтия. – Тебе нужно кормить мою внучку.

Знаю, я часто жаловался тебе, что она отпугивает покупателей – и своими ведьминскими ногтями, и нарядами, и прямолинейностью – но она мне действительно очень помогала.

А еще она любила где-нибудь торжественно поужинать без особого на то повода.

– Я хочу пригласить старых друзей из драмтеатра, – говорила она. – Мы пойдем в «Бокс Три». Похоже, заведение получило мишленовскую звезду, и у них новое меню. Столик придется заказывать за несколько месяцев, так что раз я хочу попасть туда в августе, то бронировать надо уже сейчас. Вы со мной пойдете?

Ты сидела на диване в бриджах для верховой езды, как раз собираясь в конюшню.

– Да, я пойду, – к моему облегчению ответила ты.

– Да, Синтия, конечно, – сказал я, понимая, насколько для нее это важно. – Я с удовольствием.

– Отлично, – сказала она. – Запишу в календарь.



В машине, по пути в конюшню, ты почти не разговаривала. Я помню, как высадил тебя, и меня снова накрыло чувство, как тогда на похоронах. То странное ощущение, будто меня уносит, будто душа покидает тело, а потом темнота в глазах. Когда я пришел в себя, я, разумеется, увидел его. Денни. Уже смеркалось, и когда я обернулся к загону и заметил его, потного, в спортивном костюме, тускло отсвечивающем в свете автомобильных фар, я решил, что мне мерещится. Я помигал, но он никуда не исчез и смотрел прямо на меня.

Я вышел из машины и попросил его уйти. Он отошел, взглянув на меня со стальной решимостью, и снова побежал. А потом я позвал тебя, помнишь? И мы поссорились, пока вели Турпина обратно в стойло. Разумеется, ты не представляла, что этот Денни здесь делает. Разумеется, ты ненавидела его не меньше, чем я. Разумеется, он раньше никогда так на тебя не пялился.

Ты была крайне убедительна, а меня легко было убедить, несмотря на ощущение, что я столкнулся с чем-то, неведомым мне ранее. Но в моей жизни было так много ценностей, которые я не спрятал и не защитил.

– Прости меня, детка, – сказал я. – Прости, что накричал на тебя.

Ты кивнула, а потом стала смотреть на проносящиеся мимо дома, мечтая, наверное, оказаться по ту сторону их золотых квадратных окон, на месте какой-нибудь другой счастливой девочки, коротающей вечер вторника.

Я помню, как пытался разобрать вещи твоего брата. Сидел на его кровати и чувствовал, насколько чужая для меня его комната. Плакаты фильмов, о которых я никогда не слышал. Какая-то непонятная техника, о наличии которой у него я даже не знал. Журналы, сплошь наполненные женщинами, непохожими на женщин, такими женщинами, которые выглядели не как люди, а как произведения дизайнеров итальянского автопрома.

Я порылся в его школьной сумке и нашел письмо, которое он мне так и не показал. Оно было от директора, там говорилось, что он пропустил два урока истории у мистера Уикса. Письмо было написано в марте, то есть до того, как мистера Уикса уволили. Я запомнил его, когда он приходил ко мне в магазин с женой и сыном Джорджем, чтобы купить сосновый комод. Такой высокий, похожий на снежного человека, наверняка весь класс над ним смеется, подумал я.

Так странно было сидеть в этой комнате. Присутствие Рубена было таким реальным, оно наполняло все предметы вокруг, и они напоминали мне, как мало я о нем знал. С помощью Синтии мне удалось упаковать вещи и убрать их на чердак. Ты, кажется, нам помогала, да?

Я очень хочу кое-что тебе рассказать, это касается его велосипеда. Ты помнишь, я выставил в окне объявление, что продаю его за двадцать пять фунтов. На следующий день позвонила женщина и сказала, что хочет купить его для своего сына. Шотландка с длинным лицом, чем-то напомнившая мне статуи аборигенов с острова Пасхи.

Я как раз вывозил велосипед из сарая, когда вокруг меня сгустилась тьма и снова пришло это странное ощущение изнутри головы. Только в этот раз оно было сильнее. Будто бы кто-то крутил в моей голове ручку настройки, переходя с частоты на частоту, пытаюсь поймать новую станцию. Ощущение достигло пика, когда я похлопал по седлу и позволил шотландке забрать велосипед. Я постоял немного в легком трансе, посмотрел, как она катит его по улице. Я стоял

и ждал, пока велосипед не скрылся из виду, и потом ощущение ушло, позволяя моему мозгу вернуться к успокоительной печали.

Как сказал однажды твой бывший кумир Пабло Казальс, быть музыкантом – значит распознавать душу вещей. Душу, которую лучше всего можно увидеть с помощью Стейнвея или Страдивари, или лучше всего выразить через Баха и Моцарта, но эта душа всегда присутствует в любом объекте или явлении.

Я, конечно, не музыкант. Я продаю антиквариат, но пользуюсь теми же знаниями. Сидишь весь день в магазине, среди старинных часов, столов и стульев, тарелок и бюро, и чувствуешь, что ты – один из них. Такой же предмет, который жил в обстоятельствах, которых не мог изменить, кем-то созданный, со временем переделанный, а теперь вынужденно застывший в ожидании в некоем лимбе, ничего не знающий о своей дальнейшей судьбе, равно как и о судьбе остальных.

Однажды днем пришел покупатель – эдакий похожий на быка типичный йоркширец. Из тех людей, в которых высокомерие и невежество борются за право проявиться в первую очередь. Он с ворчанием переходил от ценника к ценнику, сообщая нам с Синтией, что он очень удивится, если нам удастся содрать такие деньжищи за мебель ар-нуво или за письменный стол.

– О, – сказала Синтия. – Но он ведь из палисандра.

– Какая разница, – ответил посетитель.

– Это вещь времен первых Георгов.

– Да хоть ранняя Месопотамия, это все равно не оправдывает его стоимость.

И тут я не выдержал.

– Есть два типа покупателей антиквариата, – сказал я ему. – Первые чувствуют душу предмета и понимают, что даже мелочи – ложки для соуса, наперстки, серебряные терки для мускатного ореха – можно разве что недооценить. Таких людей я бы назвал истинными почитателями, им дорого все, чем натирали, что надевали, из чего наливали, на чем сидели, подле чего плакали, о чем мечтали, по чему лили слезы, рядом с чем влюблялись – им дороги все эти вещи. Именно эти люди регулярно заходят в антикварные лавки.

Он стоял и слушал, и его глаза и рот, как и глаза и рот Синтии, открывались все шире, и он явно был готов меня перебивать не больше, чем статуэтка в его руке. Фигурка девушки с тамбурином, покрытая розовой и зеленой эмалью. Изначально я приобрел ее в паре с другой. Но та упала и разбилась, когда я, спеша к Рубену, врезался в комод, в тот вечер, когда он погиб. Я продолжал:

– А есть и второй тип. Видимо, именно его представителя я вижу перед собой. Это покупатель, который воспринимает предмет как комплект материалов, из которых он изготовлен. Этот покупатель не задумывается ни о руках, которые создали предмет, ни о многовековой привязанности, которую давно уже умершие прежние владельцы питали к нему. Нет, такие люди все это игнорируют. Им все равно. Там, где должно видеть красоту, они видят цифры. Они смотрят на циферблат старинных латунных часов и видят только время суток.

Мужчина стоял, смущенный, как и я сам, моим внезапным взрывом.

– Я хотел купить это на день рождения жене, – сказал он, ставя фигурку обратно на место. – Но, думаю, после такого обслуживания я поищу подарок в другом месте.

А когда он ушел, мне пришлось иметь дело с Синтией.

– Теренс, что, Бога ради, ты тут устроил?

– Ничего, – ответил я. – Мне просто не понравилось, как он с тобой разговаривал.

– Господи, Теренс! Я достаточно стара и уродлива, чтобы самостоятельно за себя постоять. А мы только что потеряли покупателя.

– Я знаю. Прости. Дело же не в нем. Прости.

Она вздохнула.

– Ты ведь знаешь, что тебе нужно, да?

Я покачал головой.

– Тебе нужно уехать. Вместе с Брайони. В отпуск. Я могу недельку побыть в магазине.

В отпуск. Это даже звучит нелепо. Танцующий на поминках шут, раздающий людям картинки. В моей голове промелькнуло воспоминание. Мы едем на юг в сторону Франции, а вы с Рубеном спите на заднем сидении, свернувшись друг напротив друга, как открывающая и закрывающая скобки.

– Нет, Синтия, вряд ли, – сказал я, но весь день эта мысль не давала мне покоя.

А может, это не так уж и нелепо. Может, это наша возможность все починить. Собрать все осколки и приладить их обратно туда, где они были раньше. Да. Это шанс исцелить наши расколотые души.

* * *



Я ЗАМЕТИЛ, что после похорон твое поведение несколько изменилось.

Вместо мрачных переливов Пабло Казальса или твоей собственной виолончели из твоей комнаты стала слышна совсем другая музыка. Жесткие, ужасные шумы, я почти каждый вечер просил это выключить.

Ты теперь редко играла на виолончели. Ты все еще еженедельно посещала уроки музыки, но когда я спрашивал, как идут занятия, ты пожимала плечами или хмыкала в ответ. У тебя появилась подруга – Имоджен – о которой я раньше не слыхал, и тебе непременно нужно было звонить ей каждый вечер. Дверь в твою спальню постоянно была закрыта, и я иногда стоял у этой двери и гадал – спишь ты или сидишь за компьютером. Как-то раз, когда ты выходила, я заметил, что ты убрала со стены плакат Пабло Казальса. Изображение старого маэстро, который раньше тебя так вдохновлял.

Я с трудом в это верил. Мне казалось, он был твоим кумиром.

Ты обожала виолончельные сюиты Баха в его интерпретации. Ты даже брала в библиотеке его старые записи. Девяносточетырехлетний Пабло дирижировал специальным концертом в ООН. Крохотный старичок, на чьем испещренном временем лице отображался каждый звук, каждая эмоция, каждое движение оркестрантов, пока между ними не осталось никакой разницы – между человеком и музыкой – и поэтому каждый пассаж, звучавший в огромном зале, казался эманацией самой его души.

Ты зачитывалась его мемуарами и велела мне тоже их прочесть. Я запомнил одну историю – когда он с товарищами поднимался на гору Тамалпаис возле Сан-Франциско. Пабло было уже за восемьдесят, он чувствовал себя слабым и очень уставшим тем утром, но, к недоумению своих друзей, настаивал на подъеме в гору. Они согласились сопровождать его, а потом, на спуске, случилось несчастье. Помнишь эту историю?

От горы откололся большой валун и покатился прямо на них. Валун не задел никого из его спутников, но, глядя на него, Пабло замер. Проносясь мимо, гигантский камень попал Пабло по левой кисти и буквально раздавил ее, его ведущую руку. Его друзья с ужасом смотрели на расплюснутые, окровавленные пальцы, но Пабло не выказал ни следа боли или страха.

На самом деле он был исполнен облегчения и благодарил Бога, что ему больше никогда не придется играть на виолончели.

«Дар может быть проклятием», – написал человек, поработанный собственной одаренностью с самого детства. Человек, испытывающий приступы паники перед каждым выступлением.

Последний факт всегда утешал тебя, когда приходилось выступать на публике. Так что решение снять плакат незадолго до ежегодного Йоркского фестиваля музыки и драмы казалось бессмысленным. Наверное, это обычное дело, но я расценил твой поступок как признак грядущих, более серьезных, перемен.

Может, мне тогда стоило быть с тобой поосторожнее.

Может, мне стоило не дать тебе закрыться. Тогда мне казалось, что ты таким образом проживаешь горе. Отдавая дань уважения жизни брата, ты сама погружалась в свойственную ему таинственность.

Но я не осознавал, что ты продолжишь уходить, что ты будешь ускользать от меня все дальше и дальше, пока не дойдешь до точки, из которой мне будет уже не достать тебя.

Я просматривал рекламу от турагентств в газете и наткнулся на нее – на черно-белую размытую фотографию Колизея. «Цена включает в себя перелет и шесть суток проживания в гостинице “Рафаэль”».

Город веры, античности и перспективы, место, куда люди приезжают скорбеть и принимать преходящую суть человеческой жизни, город, чьи старые храмы и фрески переживут всех нас. Вот о чем я думал.

О, безрассудство отчаяния!

Помнишь тот солнечный вечер, когда мы шли к Синтии, и я остановился посреди Уинчелси-авеню? Ты спросила, в чем дело, а я ответил, что не знаю, что мне просто слегка не по себе. Это было то самое ощущение, которое настигло меня в церкви и когда я продавал велосипед Рубена. Потемнение в глазах и легкое покалывание в области затылка. Очень похоже на маленькие иголки, только теплые, словно крохотные огоньки вертятся и пляшут, прежде чем погаснуть. И эти огоньки выжигали те части меня, которые осознавали настоящее время и место, на мгновение лишая меня идентичности.

Я обернулся и взглянул на дом, мимо которого шел. Семнадцатый номер, выглядит так же уныло, как и все остальные на этой улице. Я велел себе сохранять спокойствие. Я успокаивал себя, что это всего лишь дрожь. Просто расшатанные нервы и нехватка сна, вот и все. Хотя если ты задавалась вопросом, почему мы вдруг перестали ходить этой дорогой, то не зря.

Когда мы добрались до бунгало Синтии, я себя чувствовал намного лучше и очень хотел есть. Хотя, конечно, невозможно проголодаться настолько сильно, чтобы захотеть отведать карри твоей бабушки.

– Это аутентичный рецепт с Гоа, – сказала она, шмякнув еду на тарелку. – Я распечатала с компьютера. Должно было получиться нежнее, но, боюсь, я слегка переборщила с чили.

– Я думаю, все удалось, – сказал я, пытаюсь отвести взгляд от угольного наброска обнаженной женщины, лежавшего на столе. Похоже, она не успела убрать его в рамку до нашего прихода. Изучает складки женской плоти на занятиях по рисованию.

– М-м-м, вкусно! – сказала ты, жуя первый кусок. Было похоже, что тебе вправду нравится.

Синтия улыбнулась и пару секунд заворуженно на тебя смотрела:

– Хорошо. Я рада. Не слишком остро?

– Нет, – ответила ты, хотя уже через пять минут наливала себе в кухне стакан воды.

– Я обдумал твою идею, – тихонько сказал я Синтии, пока ты открывала кран. – Думаю, ты права. Я планирую отпуск.

- Хорошо, Теренс. Молодец. Брайони в курсе?
- Нет, – ответил я. – Это будет сюрприз.
- А может, тебе стоит сперва с ней посоветоваться?
- Я покачал головой.
- Она всегда любила сюрп...

Ты вернулась, отхлебывая из стакана, чувствуя наши восхищенные взгляды на своей шее. Две старых утки подле лебеда.

Постепенно мы одолели карри. Большой подвиг с нашей стороны. А потом Синтия попыталась развлечь нас историями времен любительского драмтеатра.

– Была премьера «Стеклянного зверинца»... Рэй в тоге... Я сижу, вокруг зелень... Третий акт. И вот я, королева фей... Ну и кто-то в зале вдруг пускает ветры. Видели бы вы наши лица.

А потом она затихла, и ее темные губы застыли в улыбке, хотя на самом деле та уже исчезла. Какое-то время она вглядывалась в пустое пространство между нами, а потом в ее глазах блеснула печаль.

– Это же было меньше года назад, да? – спросила она чуть погодя. – Когда Рубен как раз проходил практику в театре?

Я задумался. Да. Наверное. Ты провела неделю в музколледже, составив расписание заранее, а Рубен тянул с этим до последнего. Если бы Синтия не переговорила с каким-то там Дэвидом, у него были бы серьезные проблемы в школе.

– Да, – сказала ты. – В прошлом году.

Твоя бабушка грустно усмехнулась.

– Бедный. Он как раз попал к нам, когда шел «Иосиф и его удивительный плащ снов». Целую неделю торчал за кулисами, присматривая за осликом.

– Да, – сказал я. – Да.

– Ты смотрел? – спросила меня Синтия. – Ты же не смотрел, правда? Ты не видел, как он выпихивал эту чертову тварь на сцену?

– Нет, – ответил я. – Не смотрел. У меня была какая-то встреча. Кажется, с поставщиком. Не помню.

Ты улыбнулась:

– Я видела.

– Да, – кивнула Синтия. – Ты видела. Видела.

Она заметила, что ты смотришь на набросок, переждала повисшее в воздухе молчание.

– Расскажу вам, как мы однажды рисовали с натуры...

За два дня до конца семестра мы с тобой сидели наверху и завтракали. На тебе была та же школьная форма, что и вчера, та же прическа, и ты сидела и ела свои холодные хлопья, но я при этом не мог не заметить, как сильно ты изменилась.

– Пап? Что такое? Ты меня пугаешь.

Я не мог сказать ни слова. Я не мог сказать, что онемел, что меня ошеломила твоя внезапная красота.

Откровенно говоря, ты всегда была привлекательной. Мне никогда не удавалось не обращать внимания на то, как незнакомые люди аккуратно отводят взгляд от лица Рубена, рябого, с родимым пятном, и засматриваются на твое. И я не удивился, когда мистер Уикс захотел написать твой портрет. Но должен признаться, что тем утром я смотрел на твое лицо не с гордостью, а с серьезным опасением.

Чаша переполнилась. Я не ожидал, что ты станешь такой красавицей. О, конечно, твоя мама была совершенно роскошна в юности, но это была красота на любителя. Как фарфор Боу.

Или ар-нуво. Когда я впервые ее увидел, то понял, что нужно обладать воображением Байрона, чтобы разглядеть ее совершенство. Мелкие изъяны, асимметрия были частью ее шарма.

Но меня беспокоила абсолютная очевидность твоей красоты. За этот крохотный прыжок от ребенка к женщине, за эту единственную переломную ночь ты превратилась из мягкого эльфа в Джульетту, Дидону, Венеру. Меня страшил эффект, который твоя красота могла произвести на мужское население. В конце концов, мальчикам не приходится развивать вкус. Они обладают им изначально, он растет вместе с ними из теплых внутриутробных снов, и именно он побуждает их родиться.

Я знал, что грядут проблемы. Я знал, что скоро ты начнешь привлекать к себе не то внимание. Вокруг тебя парни будут виться, как пчелы, и я боялся, что тебе это понравится, что ты будешь рада, что ты войдешь в этот рой, как опытный пчеловод, совершенно не боясь потенциального укуса.

– Пап. Хватит пялиться. Это невежливо.

Вот скажи мне, что я мог ответить? «Доченька, детка моя, пожалуйста, больше никогда не выходи из дома»?

Нет.

– Глаза, – сказал я. – Что с твоими глазами? Ты что, накрутилась?

– Слегка.

– В школу?

– Пап, сейчас в школах разрешают краситься. Это не тысяча девятьсот тридцать второй год. И я не в монастыре.

– Зелеными тенями?

– Два дня до каникул. Всем плевать.

Я знаю, что мне не стоило так уж напрягаться. В конце концов, в школе одни девочки. А после школы? Ты же идешь домой? И наверняка твой на пути сталкиваешься с сомнительными субъектами из Сент-Джона. Я представил, как ты хохочешь. Я представил, как какой-то незнакомый юноша обнимает тебя за плечи, как уводит тебя по усыпанной листьями тропинке, вдоль которой ни одного дома... А потом юноша представился уже не незнакомцем. Я видел его. Я видел того мальчика, Денни.

– Я отвезу тебя в школу. И заберу.

– Зачем, пап? Ты меня с двенадцати лет в школу не возишь. Здесь два шага.

– Я волнуюсь, вот и все. Пожалуйста, давай отвезу. И заберу. А Синтия побудет в магазине. Прошу тебя.

Я столько вложил в это «прошу тебя», что на секунду даже промелькнула прежняя Брайони. Видимо, ты решила, что я думал о Рубене и чувствовал вину за то, что так часто позволял ему пропадать с моих радаров.

Ты пожала плечами:

– Как хочешь.

В машине я рассказал тебе про Рим.

– Рим? – спросила ты с такой интонацией, словно речь шла о бывшем друге, который тебя предал.

– На прошлой неделе заказал тур.

– А почему мне не сказал? – я прямо чувствовал, как ты на меня смотришь, хотя глаз не сводил с дороги.

– Я подумал, что получится неплохой сюрприз.

– Мы в понедельник собирались затусить с Имоджен.

– Затусить?

– В смысле, погулять. Вдвоем.

– А это не подождет? Я думаю, до следующего понедельника она никуда не исчезнет.

– Когда мы вернемся?

– Тринадцатого. Раньше конца света. И потом, ты давно говорила, что хочешь в Рим. Что хочешь посидеть на испанских ступенях, с десяти лет. Со времен «Римских каникул». Все изменилось?

Ты сердито взглянула на меня.

– В смысле?

– В смысле – все изменилось?

– С тех пор, как мне было десять?

– Нет. С тех пор, как... Ладно, забудь.

Пара мальчишек перешли дорогу на светофоре, подталкивая друг друга локтями, тарася на тебя, издавая дикие обезьяньи звуки. Ты с отвращением сморщила нос, но я заметил улыбку. Смущенную, польщенную.

– Ты ведь все еще хочешь посмотреть Сикстинскую капеллу?

Пожимание плечами.

– Наверное.

– Детка, я тут заметил – а зачем ты убрала плакат из своей комнаты?

– Какой плакат?

– С Пабло Казальсом. Я думал, он твой герой.

Еще одно пожимание плечами.

– Он страшный.

– Что??

– Ночью. Он будто все время на меня смотрит. Я прямо чувствую его взгляд.

Какое лицемерие. Эти невинные глаза бывшего посла мира, эти глаза, которые он закрывал каждый раз, выступая перед публикой. Я сдержал гнев только потому, что виновато вспомнил, как стоял ночью у тебя в дверях и смотрел, как ты спишь.

– Почему бы не повесить его просто на другую стену? – спросил я.

– А что такого? – твой голос зазвучал тише, такая тускнеющая ярость, словно часть тебя уже ушла за ворота школы, в грядущий день.

– Да ничего такого. В общем, я думаю, что Рим нас обоих взбодрит, как считаешь?

Ты не ответила. Я остановился у фонаря, ты вышла из машины, и я с огромным трудом позволил тебе уйти, выпустил из убежища, и, как беспомощную молекулу, тебя втянул поток девочек, движущийся к школьным дверям.

– Пока, Брайони. Осторожней там.

Я немного постоял на месте, вцепившись в руль, словно он был последней надежной опорой в этом мире, собрался с силами, чтобы не замечать покалывания и шепот Рубена прямо в ухо – «смотри, папа, я становлюсь сильнее» – и поехал домой.

* * *



В КАЖДОЙ жизни, как в каждом рассказе, есть свои решающие моменты. Зачастую они очевидны. Головокружение и тошнота как признаки первой любви. Свадьба. Выпускной.

Внезапный выигрыш. Смерть того, кто нам нужен так сильно, что его жизнь воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

А иногда эти решающие моменты не так отчетливы. Что-то сдвигается, и мы ощущаем этот сдвиг, но его причина так же невидима, как перемена ветра.

Ты помнишь, как жарко было в Риме? Ты помнишь наш спор в очереди к собору святого Петра? Как девушка-полицейский дала тебе бумажную накидку, чтобы Господа не оскорбили твои обнаженные плечи?

Ты взяла ее с улыбкой, разумеется, ведь ты не настолько изменилась, чтобы быть невежливой к незнакомцам. Но когда та ушла, ты сразу заявила с нажимом:

– Я это не надену.

– Не думаю, что у тебя есть выбор.

Год назад – да даже три месяца назад – этого было бы достаточно. Ты надела бы накидку, посмеялась над тем, как глупо в ней выглядишь, и сразу забыла бы о ней, лишь войдя в базилику. Мы бродили бы там среди паломников и туристов – некоторые в накидках, как ты – и вместе восхищались бы куполом работы Микеланджело и прочими сокровищами эпохи Возрождения.

Но ты была непреклонна.

– Я ее не надену, – твердила ты. – Я не стану ходить в зеленой накидке. Я буду похожа на палатку.

Ни разу за четырнадцать лет твоего бытия я не видел на твоём лице такой решимости.

– Брайони, – сказал я, – не глупи. Никого не волнует, как ты выглядишь.

– Я даже не католичка, – ответила ты.

Я обратил твое внимание на японку в начале очереди, которая послушно натягивала накидку.

– Не думаю, что она католичка. Давай, что ты как маленькая.

Как маленькая. Что за ирония. Будь тебе шесть или семь, ты бы охотно послушалась. Будь тебе восемь, десять или даже двенадцать, никто из офицеров этой полиции Господа не посчитал бы твои обнаженные плечи оскорбительными.

Я вижу твое лицо. Одновременно слишком детское и взрослое, и ты сквозь сжатые губы повторяешь, как мантру: «Я ее не надену, я ее не надену...»

На нас уже посматривали люди. Намного больше людей, чем смотрели бы, если бы ты все же надела эту накидку. Среди глазающих были двое мальчишек-американцев, на вид примерно года на три старше тебя. Они пришли без родителей – полагаю, ты тоже их заметила. Может быть, поэтому ты и не хотела надевать накидку. Но мальчишки смеялись, и от этого смеха твои щеки вспыхнули. Я уставился на них, желая защитить тебя, но они меня не замечали. Просто продолжали буяннить, пинаясь и цепляясь друг за друга своими длинными неуклюжими конечностями, словно в недавней прошлой жизни были щенками.

Ты в последний раз прошептала: «Папа, пожалуйста, не заставляй меня надевать эту накидку».

Я снова взглянул на тебя, наполовину укрытую моей тенью, и, поддавшись слабости, решил больше не спорить.

– Я могу подождать тебя здесь, на лестнице, – ответила ты на мой немой вопрос.

Кажется, именно тогда я рассказал тебе о том, как Флоренс Найтингейл попала в собор Святого Петра. Конечно, когда ты была младше, «леди со светильником» была одной из твоих кумиров, и в своей комнате ты разыгрывала Крымскую войну, перевязывая раны Анжелике и остальным куклам. Но когда я сказал, что ни одно событие в жизни Флоренс не смогло сравниться с посещением собора Святого Петра, ты даже не дрогнула. К тому моменту мы уже стояли у входа.

– Я буду вон там, – сказала ты, отдавая мне накидку.

Не успел я ничего сообразить, как ты уже уходила, будто так и надо. А меня пропустил через металлодетектор угрюмый вооруженный страж Божьего правопорядка. Я, наверное, мог бы пойти с тобой, устроить тебе сцену, но как-то уговорил себя, что ничего не случится.

Видимо, я решил, что ты будешь там сидеть и корить себя за глупость и отказ от шанса духовно обогатиться. Я надеялся, что это станет неким уроком, который укажет на ошибку в твоём поведении и заставит исправить ее.

Так что я зашел в собор, сказал себе, что с тобой все будет нормально, и попытался насладиться великолепием этого места.

Помню, последний раз я был тут с твоей мамой. Нас тогда накрыла общая волна эмоций, такая же мощная, как и архитектурные пропорции собора. Казалось, мы никогда в жизни не испытывали ничего похожего на это почти парадоксальное чувство ничтожности человеческого размера и при этом величия человеческого духа. Мы любовались куполом, потом поднялись к фонарю, чтобы увидеть Рим таким, каким его видит Господь – бежевым кубком с интереснейшей историей, настолько красивым и гармоничным, что у твоей мамы слезы стояли в глазах.

А теперь я стоял на нижнем ярусе и ощущал пугающую пустоту этого места. Я побродил туда-сюда в потоке туристов, задержался ненадолго у «Пьеты» Микеланджело, посмотрел на скульптуру через пуленепробиваемое стекло. Она все равно впечатляла. Стекло добавило истории еще один слой. Оно словно подчеркивало разрыв между умирающим Христом и современным миром, разрыв, возникший из-за желания защитить.

Это желание было и на лице Девы Марии, застывшей в по-мужски жесткой позе, с немощным телом своего ребенка на коленях. Жаль, что тебя не было рядом и ты не увидела скульптуру. То, как основа религиозной веры выражается через родительское горе. Мать, от которой сын ушел в мир, убивший его. А потом его вернули к маме на руки, в безопасность, но было уже слишком поздно. Эта безопасность уже была ни к чему.

Я стоял там совсем недолго, и глаза мои наполнялись слезами. Вокруг толпились туристы с благоговейными лицами, а потом уходили, отметив галочкой в своем списке еще одну обязательную для посещения достопримечательность. Конечно, никто из них не выразил ни намек на понимание того, что пытался донести Микеланджело. Они просто издавали такие же удовлетворенные звуки, как и в Сикстинской капелле, где стояли и водили взглядом по потолку вверх и вниз, через Страшный Суд и преисподнюю у них над головой.

А я стоял перед «Пьетой» и ясно понимал послание Микеланджело. Тебя ждут страдания, если отпустишь свое дитя в мир заблудших душ. Защити ее, не отпускай ее никогда.

Я ушел, ни на что более не взглянув. Ни часовня, ни алтарь, ни статуи, ни гробница папы не могли сбить меня с курса. На улице я не сразу увидел тебя. На секунду мне показалось, что ты пропала. Снаружи было слишком много народу, но я все же отыскал взглядом и колонну, и ступени, и тебя, сидевшую там, где ты и обещала. Я рванул к тебе и лишь в последнюю секунду заметил двоих мальчиков-американцев. Ты с ужасом смотрела, как я приближаюсь. Твой стыд был так силен, что превращался в ненависть.

– Брайони, пойдём?

Ты закатила глаза, а эти щенки рассмеялись: «До скорого!»

– «До скорого»? – спросил я, когда мы проходили мимо Египетского обелиска в сторону Виа делла Кончилиационе.

Ты молча отмахнулась.

Просто выражение, сказал я сам себе, взглянув на твои голые плечи. Ничего такого, о чем стоило бы печься всерьез.

Хотя на этой безумной июльской жаре не спечься было просто невозможно.

– Ладно, – сказал я. – На очереди у нас Форум. Вряд ли тебе там понадобится накидка.

Я падал с синих ночных небес, так быстро, как только могло мое обретающее форму и массу тело. Целую вечность, пока передо мной не расстелилась плоская Земля. Темная монолитная поверхность с истекавшими лунным светом озерами и океанами. Я летел прямо в воду, а приземлился в свою кровать, и мне было худо, как никогда. Догадываясь, что что-то не так, я встал и вышел из номера, чтобы постучать в твою дверь.

Ответа не было, и я постучал снова.

Тишина.

Поставь себя на мое место – для пущей точности босиком, так же, как я стоял в том коридоре.

– Брайони, – мягко позвал я тебя. – Брайони, это я.

Тишина испугала меня, и я продолжал стучать. Из других номеров от меня на разных европейских языках потребовали немедленно прекратить шуметь. Я перестал стучать, спустился вниз и объяснил старику у стойки, что что-то случилось. Он протяжно вздохнул, словно я заставил его о чем-то с сожалением вспомнить, но все-таки выдал мне ключ. Когда я снова поднялся и отпер комнату, меня поглотила пустота твоей постели. Я осматривал номер, продолжая выкрикивать твое имя. Не было ничего, кроме твоих вещей, журналов – пустых напоминаний о тебе.

В твой десятый день рождения я купил для тебя подборку фильмов. «Свистни по ветру». «Дети железной дороги». «Встреть меня в Сент-Луисе». И любимый фильм твоей мамы, «Римские каникулы». Он стал и твоим любимым тоже, и я не видел в этом ничего особенного. «Фильм для всей семьи» – было сказано в рекомендациях Британского совета по классификации фильмов. А теперь за твои выходы в Вечном городе я отчасти возлагаю ответственность на Одри Хепберн. Юная принцесса удирает от своих обязанностей в римскую ночь, чтобы встретить любовь, свободу и Грегори Пека. Идея фильма определенно отравила твой податливый разум. Иначе с чего бы тебе в том же городе удирать из гостиничного номера в поисках придуманных приключений?

Я шел по старинным улицам наугад – откуда мне было знать, в какую сторону ты отправилась? Ты могла пойти куда угодно.

Я помню, как спускался по Виа Кондотти, а из темных окон на меня глядели манекены в дизайнерских нарядах.

Из-за угла вышла девочка примерно твоего роста, и я выкрикнул твое имя. Она шла мне навстречу, движущийся силуэт, но не отвечала. У меня сердце остановилось, когда я понял, что это не ты, а грязная бродяжка с младенцем на руках. И даже младенец был ненастоящий. Пластиковая кукла, которой она угрожала запустить в меня. В то же время она что-то прошипела на языке, который, по-моему, не был итальянским.

– Деньги, – сказала она более отчетливо, увидев, что я не понимаю. – Деее-нь-гиии.

Я продолжал идти, ускоряя шаг, а цыганка в тряпье так и стояла на месте, шипя змеиные проклятия, насылая несчастья.

Я то шел, то бежал по улицам, и во мне вспыхивала надежда каждый раз при виде движущейся тени, при звуке шагов, и угасала, погружая меня во все более глубокое отчаяние, когда источником этих звуков оказывалась не ты.

Это тянулось четыре часа – этот бег, эти вспышки надежды, эти вопросы к пьяницам, бездомным королям и мужчинам, закладывающим газеты в киоски, не встречали ли они тебя. Конечно, все было зря. На самом деле мне стоило вернуться в гостиницу и ждать тебя в вестибюле.

Светало, город медленно возвращался к дневной расцветке. К болезненной желтизне старости и умирания.

Я знал, что нужно вернуться в гостиницу. Но я также знал, что если тебя там нет, то меня ожидает невообразимый кошмар. «Брайони!» – кричал я на каждой пустынной улице. Сколько отчаяния было в твоём имени, когда никто не отзывался на него!

А вдруг тебя похитили? Я понимаю, это звучит смешно, даже для меня самого, но я не знал, куда ты подевалась. В твоей комнате не было записки о том, куда ты ушла, а в отсутствие объяснений разум изводит себя самыми ужасными предположениями.

Я медленно пошел обратно, словно время и надежда были сейчас одним и тем же, через площадь Испании, через пустую Испанскую лестницу, мимо дома, где умирал Китс. Проходя мимо фонтана, я ощутил присутствие его духа, одиноко и праздно болтающегося за окном, навеки заключенного в городе, который должен был его исцелить. Но даже Китс, великий толмач души человеческой, не мог дать мне ни капли утешения.

Я вернулся в гостиницу и спросил у человека за стойкой, не видел ли он тебя.

– Простите, сэръ, но моя смена совсем недавно началась, – сказал он, не обращая внимания ни на мою боль, ни на странную поэтику своих слов. Он был моложе и не так очевидно походил на человеконенавистника, но я находился в таком бреде, что принял его за предыдущего сотрудника.

К тому моменту меня трясло от страха, а моей голове снова начиналось то самое покалывание и гул.

Я, кажется, пробормотал некое подобие благодарности и потащился по лестнице на третий этаж, а тьма, которую я видел боковым зрением, постепенно рассеивалась.

Если ты там, думал я, в своем номере, то я сейчас обниму тебя, поцелую в лоб, поглажу по голове. Скажу: «Я люблю тебя», а ты ответишь мне: «Прости, я не хотела тебя волновать», и мне даже в голову не придет тебя отчитывать. Облегчение будет таким полным и подлинным, что я просто не смогу тебя ругать. Удивительно, не так ли? То, как наш разум торгуется с судьбой, когда равновозможным представляется любое развитие событий.

Я постучал в твою дверь, тьма сгустилась. Может, ты спишь? Секунды шли, ты не отвечала, и пол коридора качнулся у меня под ногами. Мне пришлось опереться на стену, чтобы не упасть.

– Брайони, ты здесь? Детка? Брайони?

В этот раз никто не сделал мне замечания, но если бы и сделали, я бы вряд ли обратил внимание. Весь мир мог в этот момент исчезнуть из пространства и времени, и я бы не заметил. Значение имело только то, что находилось за дверью номера триста пять, и я уже собирался идти вниз и просить дать мне ключ, как вдруг услышал кое-что. Тебя. Услышал, как твои ноги ступают по ковру.

– Брайони?

Дверь открылась, а за нею стояла ты и терла полные сновидений глаза.

Ты действительно спала или притворялась? Была ли задержка с ответом частью твоего представления? Ты вообще в курсе, что я в курсе? О, тяжкий груз банальных вопросов!

– Папа?

Честно скажу, я никогда не испытывал к тебе столько любви, как в тот миг. Все, что мне было нужно – видеть тебя, целую и невредимую. И вот ты стояла передо мной в мешковатой футболке с принтом Пикассо и зевала, как маленькая. Я знаю, в это с трудом верится, учитывая, что случилось дальше, но я клянусь тебе, что говорю правду. Я хотел обнять тебя, сказать спасибо за то, что ты такое чудо, но произнес другое.

– Где ты была? – я повторял вопрос, а ты отступала в комнату. – Где ты была?

Моя голова горела, в моем мозгу бушевали костры ярости, а залитая рассветным солнцем комната погружалась во тьму. Что-то поднималось внутри меня. Какая-то сила ослабляла меня, заставляла потерять над собой контроль.

– Нигде. Я была здесь. Я только проснулась, – вранье, вранье, вранье. – Ты о чем вообще? С ума сошел? Я здесь была. Я спала.

Я унюхал твоё дыхание, то, что пробилось из-под зубной пасты.

– От тебя несет табаком. И выпивкой.

И ты засмеялась. Ты зря засмеялась, Брайони. А потом сказала грубость, которую я образно обозначу как «отстань», потому что не могу написать эти слова, такие омерзительные, что когда я это сделал, когда ударил тебя по лицу, я бил даже не по лицу, а по словам, сорвавшимся с твоего языка, по той чужеродной дряни, что проникла в тебя, по новой сущности, которая хотела к мальчикам и не хотела к отцу. А потом морок развеялся вместе с тьмой, словно некая внешняя сила, давившая на меня, внезапно сбежала, как злодей с места преступления. Я знал, что это конец, что это тот самый переломный момент, когда ветер нашей истории сменил направление, и я до сих пор слышу твои всхлипы, вижу твою ладонь, прижатую к краснеющей щеке, и я сказал это тогда и повторю сейчас – прости меня, прости, пожалуйста, прости меня. Но я знаю, что эти слова – никудышные лекари, и они уже ничего не изменят.

Ох, все тщетно. Я должен остановиться. В чем смысл? Я вижу брезгливое презрение на твоём лице, и если бы я мог вложить свою душу в слова, если бы я мог заставить тебя почувствовать то, что чувствовал я, ты бы узнала правду.

Полагаю, я слишком многого ожидаю. Каждый писатель, каждый художник со времен древних людей, малевавших на стенах пещер, пытался найти способ выразить свои переживания, но разве мы хоть на шаг приблизились к тому, чтобы видеть себя такими, как мы есть? Нет. Путь, который нам предстоит пройти, остался таким же, как и был. Как я могу надеяться, что сделаю то, чего не сделал еще ни один писатель?

Говорят, что люди – самый высокоразвитый вид на планете, поскольку наш разум позволяет осознать собственное бытие, а значит, мы способны создавать культуру и искусство. А я смотрю на овец, мирно пасущихся на полях, и думаю – сколько же еще заблуждений выпадет на долю наших высокомерных душ?

Среди скота не найдется аналога нашему Микеланджело, но он и не нужен. Животные принимают свое бытие так, как мы никогда не сумеем. Они не создают этих зеркал – книг, картин, симфонических произведений – с помощью которых мы улавливаем и отображаем свою природу. Они не стали бы делать этого, даже если бы могли. Понимание заложено в них изначально. Все эти человеческие штуки, искусство, религия, наука – что они, как не способ восполнить эту разницу? Будь мы способны на такое же принятие, как животные, у нас бы не появилось ни Сикстинской капеллы, ни «Мадам Бовари», ни «Фантазии и фуги». Все, что мы любим в этом мире, происходит из наших ошибок, из нашей боли. Все, что создает человек, служит лишь одной цели – уменьшить ужас этого мира. Тот ужас, который испытывали и Бетховен, и Китс, и Ван Гог, и каждый великий творец, этот общий ужас человечества, которое блуждает, взирая на темные и ненадежные тени с большим удовольствием, чем на честные отражения.

Создай мы идеальное искусство, идеальное зеркало, которое отобразило бы реальность, которое позволило бы нам увидеть самих себя со всех сторон, это означало бы конец творческих поисков. Искусство убило бы само себя. Или жило бы так, как живет в лошадях, кошках и овцах. Искусство жить, просто жить, которому нам, людям, еще учиться и учиться.

* * *



СПУСТЯ неделю после возвращения из Рима я встретился с Имоджен. Я говорю «встретился», но это в некотором роде преувеличение. Будет правильнее сказать, что я замечал ее то тут, то там возле дома, примерно как орнитолог-любитель замечает зяблика в своем саду. Каждый раз, когда я подходил поближе, чтобы получше ее рассмотреть, вы обе улетали.

И вот теперь я смотрел на крупный план, и мне не нравилось то, что я видел. Что случилось с другими твоими друзьями? Куда делась, например, Холли? Мне очень нравилось слушать ваш струнный дуэт, когда вы вместе занимались. Или та девочка с конюшни. Эбигейл, да? Такая душевная старомодная девчушка, которая всегда с удовольствием заходила в магазин. Она мне всегда казалась милой.

Это были прилежные, одухотворенные девочки. Именно те друзья, которые оправдывали для меня расходы на твоё обучение.

Имоджен была совсем другой. Я не мог объяснить, в чем была ее инакость, но очень хотел в этом разобраться.

– Ты, наверное, Имоджен? – сказал я, обращаясь к скрытому за челкой лицу, когда встретил вас обеих на лестнице.

– Наверное, – ответила она в пол, а ты посмотрела на меня тем безжалостным и уже отработанным взглядом, словно я нарушил некий тайный договор, просто назвав твою подругу по имени.

Она знала о том, что случилось в Риме? Понятия не имею, что ты рассказала ей обо мне, и о чем вы вообще разговаривали в твоей комнате. Музыка заглушала ваши голоса – видимо, в этом и был ее смысл.

Ты вообще читала ту философскую книгу, которую я подарил тебе на день рождения? Если да, то ты должна помнить притчу Платона о пещере. Так вот, я скажу тебе: быть родителем – означает постоянно находиться внутри этой пещеры в попытках распознать тени на стене. Тени, имеющие смысл лишь отчасти, потому что их с легкостью можно понять неправильно. Ты никогда не знаешь наверняка, что именно происходит в том мире, который твой ребенок скрывает от тебя. То, что ребенок рассказывает – это лишь тени на каменной стене, тени, которые нельзя точно интерпретировать, пока не выйдешь на свет.

– Теренс? – Синтия звала меня в магазин. – Теренс? Теренс!

Понимаешь, я решил поступить именно так. После поездки в Рим я решил перестать верить твоим словам и начать верить только своим глазам.

– Мы уходим, – сказала ты тем вечером в среду.

– О, – ответил я. – Можно узнать, куда?

– Теренс! – крикнула Синтия, срываясь на театральный вопль.

– Минуту! – крикнул я в ответ. И потом снова тебе, уже мягче. – Куда?

– По магазинам, – коротко ответила ты, тем тоном, к которому я уже привык.

– Ладно, – сказал я. – Ладно.

Я видел, что ты ждешь продолжения. Возражений, что ли. Но я ничего не добавил.

– Мы вернемся, – сказала ты. – Позже.

«Когда?» – вот что ты ожидала услышать. Но я сказал: «Хорошо».

Выражение неповиновения, с которым ты нахмурила лоб, сменилось легкой озадаченностью.

– Ну ладно, – сказала ты почти вопросительно. – Тогда... пока.

– Конечно. Пока. До свидания, Имоджен.

Вы ушли, а я смотрел, как вы выходите за дверь, в пугающий день.

Я побежал в магазин.

– Синтия, ты можешь еще минутку тут побыть? Я быстро.

Твоя бабушка одарила меня одним из своих неумолимых взглядов. Сжатый, морщинистый рот в сочетании с этими глазами когда-то принесли ей роль Гедды Габлер.

– Теренс, где ты был? Я тебя звала. Пришла миссис Уикс, хочет поговорить.

– Я был наверху. Слушай, мне надо выскочить ненадолго.

– Но Теренс!..

Я вышел из магазина и последовал за вами, выбрался из пещеры антиквариата на свет. Вы прошли по Блоссом-стрит, через крепостные стены и вниз по Миклгейт. Я держался на расстоянии, когда вы зашли в магазин одежды. Я затаился, когда вы, переходя дорогу, повернули головы в мою сторону. Вы меня не заметили.

Дальше вы отправились через реку и по Усгейт. Я наткнулся на Питера, викария, и он просто завалил меня мягкими улыбками и словами ободрения. Спрашивал, как мы справляемся.

– Нормально, – ответил я, хотя, полагаю, мой встревоженный взгляд через его плечо свидетельствовал о другом. – Правда, справляемся. Бывают тяжелые деньки, но...

Тут я увидел, что вы поворачиваете налево, скрываясь из виду.

– Слушайте, я прошу прощения, Питер, но я ужасно спешу. Поговорим в другой раз.

Я пробежал по Парламент-стрит и увидел две компании ребят, болтающихся вокруг скамеек у общественных туалетов. Ближайшая ко мне группа состояла из парней, рассеявшихся на своих недвижимых велосипедах. Некоторые стояли: ели чипсы, сосали сигаретки, что-то писали в телефонах. Все одеты в то, что так нравилось Рубену. Кроссовки, спортивные костюмы, лица скрыты бейсболками или капюшонами. На секунду в голову вернулось теплое покалывание.

Я узнал одного из них, того мелкого пацана, которого тошнило на асфальт, когда погиб Рубен. Он толкнул локтем своего друга и кивнул в сторону другой компании. Тот парень, стоящий ко мне спиной, обернулся с улыбкой. Он смотрел, а улыбка угасала. Это был он. Это был Денни.

Я проследил за его взглядом. Рассмотрел вторую группу. Парни со странными стрижками, наряженные участниками Французской революции. Довольно пухлая девочка с нарисованной на щеке слезой, как у Пьеро. Футболки с мрачными рисунками и готическими надписями. «Раскаяние». «Муки сна». «Клеопатры». «Дщери Альбиона». «Инструкции к моим похоронам». Юные Бодлеры, подключенные к музыкальным устройствам или поедающие бейглы с начинкой.

Мое сердце замерло, когда я увидел в самом центре тебя.

Вокруг твоей красоты роились парни, как я и боялся. Один из них энергично болтал с тобой и Имоджен.

Мне показалось, что он старше остальных – тощий, затянутый в черное и, несмотря на погоду, в кроваво-красном шарфе. У него было длинное, бледное, костлявое лицо и сонные

глаза. Лицо мертвеца, как выразился бы Диккенс. Что он такого сказал, что вы обе засмеялись? У меня все зудело – нет, горело – от желания узнать.

Чуть подальше, в вашей же компании, стоял еще один парень. Я его вроде бы узнал, но не понял, кто это. Высокий, полный мальчишка, громко старающийся влезть в разговор. Блондин с розовой челкой и в очках с толстыми стеклами. Потом до меня дошло. Это был Джордж, сын миссис Уикс.

До недавних пор он всегда приходил в магазин по субботам вместе с матерью. Я так долго не мог сообразить, кто это, потому что Джордж Уикс всегда казался мне тихим и прилежным ребенком. Несмотря на его габариты, было несложно представить, как его дразнят из-за запаха изо рта и скромного поведения. Тот факт, что его отец – школьный учитель, никак не облегчил ему участи. Я помню, как однажды убеждал Рубена поговорить с ним: Джордж учился в Сент-Джоне классом старше, но твой братец как обычно нашел отговорку и ускользнул (я вспомнил письмо, которое нашел в его рюкзаке. Видимо, Рубен избегал Джорджа, потому что ненавидел мистера Уикса. Или, возможно, из-за преданности своему клану. Я не знаю. У меня нет ответа).

Я подумал, знает ли миссис Уикс, с кем якшается ее сын. Знает ли она, что ее сын-астматик курит. Что бы она сделала, если бы обо всем узнала?

Но, в общем, вот он, громкий и разбитной, пытается завладеть твоим вниманием, как и все остальные. А вот я, выглядываю из-за угла возле «Маркс и Спенсер», такой же невидимый для обеих групп, как и тысячи бродящих вокруг туристов и покупателей.

Подойти поближе было рискованно, так что я стоял на месте и не слышал ни слова, кроме тех, что выкрикивала африканка с громкоговорителем, цитирующая на всю пешеходную зону Откровение Иоанна Богослова.

– И цари земные, и вельможи... – орала она в первозданной ярости, не подтверждающей ничего, кроме ее собственных сомнений.

Группа Денни начала смеяться над женщиной и швырять в нее чипсами. Швыряли все, кроме Денни, чьи темные непроницаемые глаза по-прежнему были обращены к тебе.

– ...и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор...

Я видел, как Денни оторвался от своей компании, прошел мимо дверей в туалеты и дальше, прямо к тебе. Юноша с лицом мертвеца, с лицом Урии Хипа, обернулся и сказал что-то, что Денни проигнорировал. А потом Денни заговорил с тобой, и ты отвечала ему, и как же мне хотелось уметь читать по губам, но все, что я слышал – это слова предупреждения, свирепо звучащие в мою сторону.

– ...и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле...

Чем громче крик, тем шире глаза. Чем шире глаза, тем громче крик.

– ...и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?

Урия Хип толкнул Денни, а Денни в ответ толкнул его, и остальные сгрудились вокруг них. В воздух полетели чипсы и оскорбления. Толчок Денни был сильнее, и Урия свалился к твоим ногам. Подтянулся еще один из шайки Денни. Я узнал бритоголового мальчика с теннисного корта, он бил Урию в живот.

Ты смотрела на Имоджен в страхе, стоя в центре событий.

Нужно было что-то делать.

Я было шагнул в вашу сторону, но вдруг все утихло.

Группа Денни оттащила бритого, а сам Денни исчез с места происшествия. Имоджен помогла Урии встать.

Я не двигался с места, пока ты и твоя компания уходили прочь под радостные вопли банды Денни. Ты в любой момент могла увидеть меня, и я не смог бы объяснить, почему я не в магазине. Убедительно – не смог бы. И потом, после поездки в Рим я просто не имел права

еще сильнее тебя оттолкнуть. Я зажмурился, и в солнечно-красном мареве увидел распластавшегося на асфальте Рубена. Это последний знак, решил я.

– И отрет Бог всякую слезу с очей их!..

Стрелки показывали, что прошел час. Хватит со старика Теренса, пора вернуться в магазин и помочь Синтии, очень уж много дел сегодня.

– Где тебя носило? – змеиным шепотом спросила она, чтобы не услышала пожилая пара, разглядывающая мебель.

Я затруднялся с ответом.

– Мне надо было... Я ходил... Брайони...

Синтия прикрыла глаза и раздраженно выдохнула.

– Ты же не додумался за ней шпионить?

Пожилые посетители взглянули на нас и решили молча уйти.

– Да, – сказал я. – Да. Я шпионил. Но я же уже здесь, разве нет?

– Не знаю. Разве да? Ты *здесь*, Теренс? – это «здесь» было подчеркнуто вздыманием бровей.

– И как это понимать?

Синтия сделала вдох, готовясь разнести меня в пух и прах, но передумала. Ее голос смягчился. Брови опустились. Она уставилась туда, где еще пару секунд назад стояли старики-покупатели.

– Никак, Теренс. Никак. Мне просто кажется, что тебе нужно с кем-нибудь поговорить.

– С кем-нибудь? С кем? О чем?

– С кем-то посторонним. С психологом, который знает, как работать с утратой, например. С кем-то незнакомым, кому ты смог бы открыться. Мне иногда помогает, после того как Хелен... Знать, что можно вечером в четверг пойти куда-то, сесть, выговориться, выставить себя на посмешище...

– Нет, – ответил я. Сама мысль о том, чтобы сидеть на пластиковом стуле в помещении, наполненном брошюрками о психическом здоровье и запахом дрянного растворимого кофе, и беседовать с незнакомцами – нет, это отвратительно. – Нет, вряд ли.

Она с надеждой улыбнулась.

– Может, ты бы поговорил со мной. Ты со мной, а я с тобой. Может, это нам обоим помогло бы. Знаешь, нездорово все держать в себе. Если игнорировать эмоции, из них может вырасти монстр. Надо почаще открывать двери. Впускать свежий воздух.

Я сел на деревянный табурет, а Синтия осталась в кресле.

– Может быть, – сказал я. Это было тусклое, но искреннее «может быть». Слабое эхо прежнего Теренса, того Теренса, который знал, что такое хороший совет, и умел его принимать.

– Он был очень добрым мальчиком, – сказала она, улыбаясь тем шире, чем глубже грусть проникала в ее глаза.

– Да, – ответил я. – Бывал.

Она хихикнула.

– Я помню, он пришел ко мне в бунгало и спросил: «Бабушка, а зачем тебе все эти веточки в вазочках?» И я дала ему книгу полистать. Энди Голдсуорти. Помнишь? Ему понравились ледяные скульптуры. «Вот это класс! Как он это сделал?» Странно, да? Это же было всего пару месяцев назад. В воскресенье. Он просил после еды ириску, да? Ох, он так и не стал слишком взрослым для этих ирисок!

– Нет, – сказал я, изо всех сил пытаюсь вспомнить то воскресенье. – Нет, не стал.

Синтия весь вечер рассказывала байки и истории этого безвозвратно израсходовавшего себя мира. Я смеялся, кивал, поддакивал, но добавить мне было нечего. По правде говоря, я был слишком занят мыслями о тебе и молился, чтобы с тобой ничего не случилось.

Мои молитвы были услышаны. Ты вернулась без пяти пять, одна, в целостности и сохранности, ненавидя меня ни больше ни меньше, чем когда уходила.

– Мы с твоим отцом неплохо поболтали, да, Теренс? – сказала Синтия, встретив тебя в прихожей.

– Да, – сказал я. – Неплохо.

Синтия вытаращила глаза и закивала, излишне активно подтверждая мои слова.

Ты, к бабушкиному удовольствию, улыбнулась.

– О, – сказала ты. – Хорошо. Я рада.

Кажется, больше ничего.

Потом ты неспешно пошла наверх, прочь от нас, а Синтия все шептала, безуспешно пытаясь все уладить.

– Видишь, волноваться не о чем. Все с ней в порядке. Она сама вернется в лоно семьи. Давай, Теренс, будь умницей. Иди-ка завари нам чаю.

Если ты всегда была мечта, а не ребенок, то Рубен был темным ночным сновидением, не поддающимся осмыслению. Я изо всех сил пытался посоревноваться с Синтией по количеству историй, отчасти и потому, что Рубен никогда меня близко не подпускал. Я старательно собирал возможные подсказки, кусочки вещественных доказательств, никогда не дававших мне полной картины – короткие отзывы учителей, невнятные односложные слова, исходившие из недр его горла, звук его шагов из комнаты, друзья, которых он навещал, но о которых никогда не рассказывал. Хотя бывали моменты, когда мне удавалось понять, что у него в голове. Один случай я помню очень хорошо. Когда же это произошло?

Ты готовилась к школьному концерту, так что тебя дома не было. Получается, была среда, так? Да. Помнится, это случилось за неделю до вашего четырнадцатилетия. Да. Точно. Остальные подробности я помню намного лучше.

Я сидел в магазине, догадываясь о присутствии Рубена только по звукам. Вот щелкнул его ключ, вот тихо хлопнула, закрываясь за ним, входная дверь. Помню, именно тогда я спросил: «Как прошел день?», ну или что-то такое же незначительное. Он не ответил. Обычное дело. Видимо, он находился где-то в своем мире. Ну или просто меня игнорировал. В общем, что бы там ни было, я не придавал значения. У меня был свой кошмар, я пытался отреставрировать бюро. Спустя какое-то время я услышал его шаги, он вышел из комнаты и пошел в ванную, а потом до меня донесся звук льющейся воды. Он открыл кран на полную.

Я оставил бюро и пошел наверх. И остановившись у двери, услышал кроме воды кое-что еще.

Как объяснить. Шум.

Что-то вроде стопа. Он звучал как быстрое тяжелое дыхание с неким призвуком. Теперь, задним числом, я понимаю, что надо было заходить сразу. Но я не стал. Должен сказать, мое бездействие было не родительской заторможенностью, а, скорее, отцовской интуицией. Когда мужчина слышит, как его сын-подросток постанывает в ванной, есть смысл не вмешиваться. Так что я отступил и изо всех сил постарался не задумываться о происходящем. Мне все еще казалось, что есть вещи, в которые родители не должны влезать. Я думал, что оберегаю сына от его собственного стыда.

И только когда он начал выразительно подвывать, я решил вмешаться.

– Рубен? Что ты там делаешь?

Он не слышал. Точнее, не ответил. Вода шумела, так что я повторил громче.

– Рубен? Тебе правда нужно столько воды?

Теперь, подойдя поближе, я понял, что эти звуки выражали боль, а не наслаждение.

Он закрыл кран. Я слышал его тяжелое дыхание.

– Пап... – сказал он. – Я просто... Я... Я не...

В его голосе звучали боль и паника. Я нажал на дверь. Он ее не запер. Может, забыл. А может, подсознательно хотел, чтобы так произошло. Чтоб я распахнул дверь и увидел то, что увидел, и вижу до сих пор, словно все случилось секунду назад.

Твой брат стоял перед зеркалом и глядел на меня полными ужаса распахнутыми глазами. Я не сразу заметил, что в раковине что-то лежит. Но я увидел кровь. Она текла из глубокой блестящей раны на его левой щеке.

– Господи, Рубен, что ты делаешь?

Он не отвечал. Я думаю, ему было стыдно, но все нужные мне улики лежали в раковине. Там была его зубная щетка с розовой от крови щетиной.

– Это ты сделал?

Я снова посмотрел на рану и понял, откуда она взялась. Он пытался счистить свое родимое пятно. Он все это время стоял и сдирал щеткой кожу.

– Рубен, – я смягчил голос. – Рубен, зачем ты...

Стыд, боль, текущая кровь обессилили его. Он побледнел и зашатался, словно вот-вот потеряет сознание. Я быстро подхватил его.

Я осмотрел его рану. Заклеил щеку пластырем. Дал ему парацетамол.

– Не хочу, чтобы Брайони узнала, – сказал он.

– Я ей не скажу, – ответил я. – Скажем ей, что ты поранился, когда играл в регби.

– Я не играю в регби.

– Ну в футбол.

(Ты ведь так и не поверила? Зато теперь ты хотя бы знаешь, что это не Рубен соврал.)

Конечно, я спросил его, зачем он это сделал, но ответа так и не получил.

Я утешил его, по-отцовски традиционно, и самонадеянно решил, что ему стало немного легче. На самом деле он, видимо, просто хотел как можно скорее уйти из ванной и от своего любопытного родителя.

Я остался смывать последние следы крови с щетки.

Даже когда все закончилось, я не закрывал кран, и мне было плевать на расход воды, и какое-то странное облегчение приносил шипящий звук, с которым она лилась на белые щетинки и дальше в слив.

Давай, Теренс! Выбирайся из этих зыбучих песков, пока не увяз окончательно.

Эпизод следующий: Синтия и ее ужин в ресторане.

Да. Ты не пошла с нами, помнишь?

– Брайони! – позвал я. – Брайони, бабушка пришла. Ты готова?

Синтия стояла у зеркала, поправляя пальцами свои свежеекрашенные черные волосы, принимая разнообразные театральные позы.

– Лиз Тейлор отдыхает, – произнесла она.

Я снова позвал тебя.

– Брайони? Брайони!

– Теренс, она что, тебе не сказала?

– Не сказала?

Синтия указала черным ногтем на твою комнату и прошептала:

– Другие планы.

– Что?

– Она мне звонила час назад.

– Звонила?

– С мобильного.

– Звонила тебе с мобильного? Когда?

– Я же сказала, – раздраженно ответила Синтия. – Час назад.

– Боюсь, Синтия, это ошибка. Она обещала пойти с нами, так что она пойдет. Брайони? Брайони!

Снаружи сигналил таксист.

– Брайони! Брайони!

Твой голос, откуда-то сверху.

– Что?

– Почему ты сказала бабушке, что не пойдешь с нами?

– Я еду к Имоджен, – с подчеркнутой холодностью ответила ты.

– К Имоджен?

Пальцы Синтии быстро сыграли четыре беззвучных ноты на моей руке. Ногти блеснули, как украшения из оникса.

– Похоже, ее подруга очень расстроена, – прошептала она. – Она рассталась с парнем, и ей нужна компания Брайони. Ты же знаешь, что девчонки любят ночевать друг у дружки. Идем, Теренс, не устраивай бучу.

Я поднялся наверх, и ты протянула мне заранее приготовленный листок с адресом и телефоном Имоджен. Наверняка ты была уверена, что этой информацией я не воспользуюсь.

Третий низкий гудок клаксона такси и голос Синтии.

– Поехали, Теренс, мы опоздаем!

И я гляжу тебе прямо в глаза.

– Там будете только вы с Имоджен?

Умелая демонстрация невинного взгляда.

– Ага.

– Позволь узнать, на чем ты туда поедешь?

– Имоджен знакома с одним сутенером в нашем районе, он любезно предложил меня подбросить, – сказала ты, поддразнивая. – Меня заберет мама Имоджен.

– Ладно, – сказал я, подумав о Синтии. – Я тебе доверяю.

Даже если б это было правдой, я все равно бы всю ночь паниковал.

Наше такси проехало мимо автомобильной аварии возле ипподрома. Разбитая машина, вздыбившаяся, как разозленный кот, упершаяся носом в ограждение.

– Бедняга, – сказала Синтия, когда покрытого одеялом потерпевшего заталкивали в машину «скорой помощи».

– Да, – ответил я и подумал – мне бы уметь сочувствовать, как твоя бабушка. Лучше бы я беспокоился о жертве аварии, чем о своей дочери, едущей на заднем сидении чужой машины в дом, который я никогда не видел.

В «Бокс Три» я весь вечер улыбался и кивал, и устроил себе несварение желудка, жадно набросившись на поджавшего губы палтуса, и слушал историю Синтии о давнишней постановке «Бури».

Я почти ничего не помню об этих людях.

О ее старых друзьях из любительского театра.

То есть, нет, я помню одного или двоих. Я помню Рэя. Раздражающий мужчина с лицом керамического человечка, с энтузиазмом коверкающий мое имя: «Что ж, Терри... Да, Тел?... Передай, пожалуйста, вино, Теззер».

Он забрасывал меня цитатами, а его жена сидела рядом, сникшая и неприметная.

– «Но тот, кто стремится быть героем, должен пить бренди!» – сказал он, откидываясь на спинку стула и изучая винную карту. – Это доктор Джонсон, вдруг ты не знал. Ты будешь бренди, Телли?

– Нет, – ответил я. – Не пью.

Он погладил свой несуразный подбородок и как-то надменно на меня посмотрел.

– Ни за что бы не подумал, – сказал он.

Кажется, именно тогда Синтия начала громко рассказывать об уроках рисования с натуры.

– Ты бы смог раздеться, Тел? – спросил керамический человечек. – В смысле, во имя искусства?

– Нет. А вы?

– Что ж, если старый Олли Рид ² смог это сделать, то с чего бы я не смог? – ответил он.

Мне на помощь пришел сидящий рядом мужчина. Этот гомосексуал. Седовласый, в свитере канареечного цвета, похожий на тщательно выбритого верблюда. Думаю, ты его видела раньше. Он играл вдову Твенки в пантомиме «Аладдин» несколько лет назад. Майкл. Кажется, они так его называли.

– Не знаю, Рэй, – казал он. – Ты больше похож на Олли Харди ³

² Британский киноактер, игравший героических и мужественных персонажей.

³ Американский комедийный актер, участник знаменитого дуэта «Лорел и Харди», исполнявший роль толстяка-недотепы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.